

шаются плавно и не доводятся до ярко выраженного контраста между ними. Здесь нет нужды пересказывать историю искания и выработки этих черт антиквы, вплоть до завершения этого процесса в диалектическом доведении до крайности именно этой контрастности в шрифтах конца XVIII—начала XIX в., типа Дидо и Бодони (начиная с середины XIX в. эти крайности в обычных шрифтах сильно смягчены). Важно лишь учесть, что в XVII в. антиква достигла не только большого изящества, но и высокой степени четкости, причем именно эльзевировские (и вообще голландские) шрифты занимали в этом отношении особое положение.

Пусть для стилистических исканий украинских типографов определенных десятилетий XVII в. показательны сближения инициалов и прописных букв кириллицы с инициалами и капитальными формами прописных букв греческих шрифтов. Пусть, с другой стороны, наилучшим образом будут объяснены попытки Тессинга и Копиевича «минускулизировать» московскую кириллицу в амстердамских изданиях и на примерах прописных букв демонстрировать кажущееся единство или родственную близость церковнославянского шрифта и антиквы. Какова бы ни была роль этих наборных новшеств (а знаменитое «КОНЕЦЪ» в амстердамском «Кратком собрании Льва миротворца...», 1700 г., несомненно оказывало свое воспитывающее действие на вкусы русских читателей и, быть может, типографов), все же все это приходится считать не более как явлениями, сопутствующими рождению нового, но не причиной или объяснением этого нового.

Не воля преобразователя, стремившегося порвать с традицией, и не какая-то якобы имманентная невозможность печатать светские книжки кириллицей, а просто неизмеримо возросшая потребность в письме и чтении привели к тому, что к началу XVIII столетия почерк полуустава, складывавшийся еще в XIV в., совершенно перестал отвечать своему назначению основного книжного письма, почерки же лишь несколько более поздней по своему возникновению скорописи стали приобретать новые черты, свойственные типично минускульному письму. Большой научной заслугой А. Г. Шницгала<sup>9</sup> явилось то, что он первый к вопросу о русской шрифтовой реформе начала XVIII в. подошел с позиций палеографии и убедительно показал, что введение гражданского письма отвечало процессам, складывавшимся и протекавшим внутри русской писцовой практики. Недоумение вызывает лишь то, что этот автор, анализируя удельный вес русских и иноземных элементов в шрифтах 1708 и 1710 гг., точно так же как и его многочисленные предшественники, писавшие о возникновении «гражданки», не отметил той стороны дела, которая едва ли не наиболее существенна для палеографа и шрифтоведа.

В гражданском письме Россия получила впервые отчетливо минускульный шрифт с ярко выраженной четырехлинейностью и притом при сознательном использовании именно наиболее совершенного шрифтового образца своего времени.

Установив это основное обстоятельство, мы можем менее пристально разыскивать каллиграфические и граверные прообразы «гражданки», особенно среди инициалов, и не пытаться нащупать некую «протогражданку» («pre-graždanka» у Чельберга) — историческую фикцию. Что касается

<sup>9</sup> А. Г. Шницгал. Графическая основа русского гражданского шрифта. М., 1947. — Уже после написания настоящей статьи, доложенной в Институте русской литературы АН СССР в марте 1959 г., вышла в свет ценная монография этого же автора «Русский гражданский шрифт. 1708—1958» (Изд. «Искусство», М., 1959), в которой разбираемым здесь вопросам уделено особое внимание на стр. 25—114. Однако отмечаемая нами сторона дела и в этой работе остается почти незатронутой.